

КАТЯ ПЕТРОВСКАЯ



[3]

ИЛ 8/2021

Бабий Яр

Глава из книги “Кажется Эстер”¹

Перевод с немецкого Михаила Рудницкого
Вступление автора

Мне трудно писать обращение к русскому читателю, потому что “Кажется Эстер” — моя единственная книга и написана она по-немецки. Потребность в немецком возникла из невозможности эмоционального конвертирования. Это чувство хорошо знакомо многим эмигрантам. Эмоциональный накал этой книги возник из желания рассказать что-то “немецкому другу”, буквально заставить его себя слушать. Книга написана по-немецки, но возникала как бы между языками, в стереоэффекте языков. Как ее вернуть обратно, в лоно родного языка, когда она так отчаянно сопротивлялась, чтобы ее писали по-русски?

Книга “Кажется Эстер” связывает два мифологических пространства: Киев — “мать городов русских” и Берлин — “мачеху городов русских” (по меткому выражению Владислава Ходасевича). Она не о прошлом, а об опыте современного человека, который движется в ландшафте мирной объединенной Европы и все время спотыкается об историю. История досталась

КАТЯ ПЕТРОВСКАЯ. Vielleicht Esther © Suhrkamp Verlag Berlin, 2014
© Михаил Рудницкий. Перевод, 2021
© КАТЯ ПЕТРОВСКАЯ. Вступление, 2021
© SASHA ANDRUSYK. Фото

1. Полностью книга выйдет в Издательстве Ивана Лимбаха.

ему в наследство. Этот человек в книге хочет как-то шить пространство, но все время оказывается на меже экзистенциальных катастроф военного времени. Путешествие начинается в Берлине на вокзале и заканчивается в Киеве, у родного дома на Институтской улице, и, таким образом, все повествование — своего рода возвращение блудной дочери. Когда едешь из Берлина на восток, всегда оказываешься в ореоле романтически-военного Drang nach Osten и той страшной войны. Переживание киевского детства становится более интенсивным, “проявляется” подобно фотографии в чужеродной среде. Советский опыт и его замолчанные, так и не рассказанные истории, как сироты, ищут усыновления. Вторая мировая война оказывается общей палитрой, своего рода античностью европейской современности, общим кодом, на нее завязаны идеологические сюжеты нашего времени, даже аффекты античных мифов — прообраз неразрешимости сюжетов Второй мировой войны.

Любая история семьи — альтернатива государственной идеологии, в каждой семье есть что-то, что противоречит “верховному” мифу. Один мой дед был военнопленным, другая часть родни — убита в Бабьем Яру. Ни о тех, ни о других в государстве, в котором я росла, не говорили ни слова, о ста тысячах расстрелянных на краю родного города — в учебниках ни строчки, ни слова в городских газетах в дни годовщин.

Мои родители никогда не молчали. Наоборот, они говорили о том, о чем молчала официальная история, рассказывали о болевых точках истории, — это было делом чести, порядочности, что ли, может быть даже кодом нахождения “своих”, себе подобных. При этом они совсем не были классическими диссидентами. Пражская весна, Венгрия 1956, репрессии, “Солидарность”, Афганистан и, конечно, эта киевская черная дыра, Бабий Яр, были их “набором хромосом”. Меня просто закаляли в детстве на этих запретных темах. Мои родители считали это знание, это отношение к боли другого человека гарантом совести и даже личной свободы. Но в этом проблема любого рассказа о таких событиях. Как сохранить историческую память, как говорить о насилии над людьми, не умножая насилие, не повторяя — как в случае с Бабьим Яром — не только ту смерть, но и бесчестие той смерти в своем рассказе. То есть как говорить о насилии, не применяя насилия к другим людям. Поэтому самым важным для меня оказался поиск языка.

Немецкий язык стал тем буквальным способом “онеметь”, потерять дар речи, поскольку я пишу о потерях, о том, что невозможно ни починить, ни замолить, ни разрешить никаким ритуалом. Я начала учить немецкий в двадцать семь лет, то есть обретение немецкого стало принятием собственного онемения, и в этом смысле традиция моей семьи, в которой почти два века учили немых детей говорить, не прервалась. Я остаюсь в “семейном бизнесе”. И это даже не метафора, а жизнь внутри языка. В сущности, я лишилась родного языка, тем самым создав себе право на говорение. Было такое понятие — “сопромат”, немецкий — это такой твердый материал,

писать по-немецки — попытка через сопротивление транспонировать советскую идею “любой ценой” и “до последней капли крови” в мирное завоевание языка, в своего рода обратную оккупацию. В книге все правда — и истории учителей глухонемых детей, которые путешествовали сиротским домом, как бродячий цирк, и история моего деда, который вернулся домой только через сорок лет после войны, и то, что моя бабушка Роза стала директором детского дома для блокадных детей, и то, что мой двоюродный дед Иуда Штерн (sic!) стрелял в немецкого посланника в Москве в 1932 году во время выборов в Германии (его упоминает Шаламов в рассказе “Декабрист”), и даже то, что “Кажется Эстер” действительно существовала. Единственным фиктивным элементом книги, как ни парадоксально, оказывается сам немецкий язык, на котором написаны эти истории, он становится попыткой увести текст из жанра мемуаров. Это, в частности, видно на истории о фикусе. Вроде бы был фикус, который спас моего отца от смерти, но потом этот фикус исчезает из его памяти, превращается в фикцию, в вымысел, в небыль, непосредственно как бы в литературу. Эта “непосредственность” принципиальна для всего повествования, всей модальности письма.

В частности, я и поэтому не решилась переводить “Кажется Эстер” сама. Михаил Рудницкий мужественно рискнул перевести книгу, у которой, в сущности, нет оригинала. Это приключение не из простых, ведь надо создать какой-то другой образ, зная, что автор не совсем узнает себя. Мне очень интересен его поиск.

Предлагаемая здесь вниманию читателя глава про Бабий Яр (пятая в книге) — о топографии родного города, где — теперь уже почти в его центре — есть место Бабий Яр, в котором убиты сто тысяч человек и с которым, если честно признаться, на самом деле мало кто знает, что делать. Совесть невозможно ни сеять, ни насаждать. Теперь там парк, огромный, несколько километров, где с одной стороны метро, а с другой Кирилловская церковь XII века, кстати расположенная на древнейшем северо-западном тракте. Это глава про горожан, про невозможность общей памяти, про две катастрофы Бабьего Яра. Здесь рассказаны несколько историй спасения и смерти, а также история моей прабабушки, про которую известно разве только то, как она умерла, но не ее имя. Эстер, Эсфирь считается спасительницей еврейского народа, а тут ее походя убивают, не кажется, а на самом деле, и единственное, что я могла для нее сделать, это замедлить ход ее смерти. Само название книги — это попытка понять, сколько неясного и неразрешенного содержится в том, что мы называем исторической правдой.

Может быть, мне очень хотелось объяснить кому-то, может даже самой себе и людям, живущим в Германии, что от Берлина до Киева такое же расстояние, как от Берлина до Парижа. Только вот Париж все знают. А Бабий Яр нет. Моя книга возникла на пересечении бессилия и гнева. Дело не в патриотизме, боже сохрани, а в памяти места, во внутренней необходимости описывать, в каком пространстве мы выросли или находимся. Киев — уди-

вительное и трагическое пространство на сломах культур. О катастрофах, в которых гибнут миллионы невинных людей, вообще невозможно рассказать до конца. Но мне очень хотелось, чтобы Киев был на европейской карте сопереживания, и не только под знаком кровавых земель, а еще из-за красавицы Лёли, Кирилловской церкви и рассказа моей мамы об Ахилле.

КАТЯ ПЕТРОВСКАЯ